

Я обзавелся норой, и, кажется, получилось удачно. Снаружи видно только большое отверстие, но оно в действительности никуда не ведет: сделаешь несколько шагов – и перед тобой стена из песчаника. Не стану хвалиться, будто я сознательно пошел на эту хитрость; вернее, дыра осталась после многих тщетных попыток подземного строительства, но в конце концов я решил, что выгоднее сохранить одно отверстие незасыпанным. Правда, иная хитрость так тонка, что сама собой рвется, это мне известно лучше, чем кому-либо, а кроме того, разве не дерзость наводить таким способом на мысль, что здесь скрыто нечто, достойное исследования? Но ошибается тот, кто решит, будто я трусил и только из трусости обзавелся этим жильем. Примерно в тысяче шагов от этого отверстия лежит прикрытый слоем мха настоящий вход в подземелье, он защищен так, как только можно защитить что-либо на свете, хотя, конечно, кто-нибудь может случайно наступить на мох и на этом месте провалиться, тогда мое жилье будет обнаружено и тот, кто захочет – правда, тут нужны определенные, довольно редкие способности, – сможет в него проникнуть и навсегда все погубить. Это я знаю, и даже сейчас, когда моя жизнь достигла своего зенита, у меня не бывает ни одного вполне спокойного часа; там, в этой точке, среди темного мха, я смертен, и в моих снах я частенько вижу, как вокруг нее неустанно что-то вынюхивает чья-то похотливая морда. Я бы мог, скажут мне, засыпать входное отверстие сверху тонким и плотным слоем земли, а затем более рыхлым, чтобы было нетрудно в любую минуту снова раскопать выход. Но это-то и невозможно; именно осторожность требует, чтобы для меня всегда был открыт путь к бегству, и чтобы я рисковал жизнью – а это, увы, бывает очень часто. Для всего здесь нужны очень сложные расчеты, и подчас радости гибкого ума являются единственным побуждением, чтобы продолжать эти расчеты. Я должен иметь возможность немедленно бежать; разве, несмотря на всю мою бдительность, я гарантирован от нападения с совершенно неожиданной стороны? Мирно живу я в самой глубине своего дома, а тем временем противник откуда-нибудь медленно и неслышно роет ход ко мне. Я не хочу сказать, что у него чутье лучше моего; может быть, он так же мало знает обо мне, как и я о нем. Но есть ведь упорные разбойники, они вслепую ворочают землю и, невзирая на огромную протяженность моего жилья, надеются все же где-нибудь натолкнуться на мои пути. Правда, у меня то преимущество, что я – в своем доме и мне точно известны все его ходы и их направления. Разбойник очень легко может стать моей добычей, и притом весьма лакомой. Но я старею, многие противники сильнее меня, а их бесчисленное множество, и может случиться, что я, убегая от одного врага, попаду я лапы к другому. Ах, может случиться все, что угодно! Во всяком случае, я должен быть уверен, что где-то есть легко доступный, совершенно открытый выход и что мне, если я захочу выбраться, совсем не нужно для этого еще новых усилий, – ведь в ту минуту, когда я буду отчаянно рыть землю, хотя бы и очень рыхлую, я вдруг – боже, упаси меня от этого – могу ощутить, как мой преследователь впивается зубами в мою ляжку. И угрожают мне не только внешние враги. Есть они и в недрах земли. Я их еще никогда не видел, но о них повествуют легенды, и я твердо в них верю. Это существа, живущие внутри земли; но дать их описание не могут даже легенды. Сами жертвы едва могли разглядеть их; только они приблизятся и ты услышишь, как скребутся крепкие когти прямо под тобой в земле, которая является их стихией, и ты уже погиб. Тут уж не спасет то, что ты в своем доме, ведь ты скорее в их доме. От них не спасет и другой выход, хотя он, вероятно, вообще не спасет, а погубит меня, но все-таки в нем моя надежда и без него я не смог бы жить. Кроме этого широкого хода меня связывают с внешним миром еще очень узкие, довольно безопасные ходы, по которым поступает ко мне свежий воздух для дыхания. Их проложили полевые мыши. Я умело связал ходы с моим жильем. Они мне также дают возможность издали почутъять врага и таким образом служат защитой. Через них ко мне попадают всякие мелкие твари, которых я пожираю, так что я могу для скромного поддержания жизни заниматься охотой тут же, не покидая своего жилья; это, конечно, очень ценно.

Но самое лучшее в моем доме – тишина. Правда, она обманчива. Она может быть однажды внезапно нарушена, и тогда всему конец. Но пока она еще здесь. Я часами крадусь по моим ходам и не слышу ни звука, только иногда прошуршит мелкий зверек, который сейчас же и затихнет между моими челюстями, или донесется щелест осыпающейся земли, напоминающий мне о необходимости произвести где-то ремонт, но помимо этого – тихо. Веет лесным воздухом, в доме одновременно и тепло и прохладно. Иногда я ложусь на землю и перекатываюсь с боку на бок от удовольствия. Приближается старость, и хорошо иметь такой вот дом, знать, что у тебя есть крыша над головой, когда наступит осень. Через каждые сто метров я расширил ходы и утрамбовал маленькие площадки; там я могу удобно свернуться калачиком, сам себя согреть и отдохнуть. Там я сплю сладко и мирно, потребности мои уже утихли, и цель – иметь свой дом – достигнута. Я не знаю, осталась ли у меня эта привычка от древних времен или опасности даже в этом убежище настолько велики, что они будят меня: через определенные промежутки времени я испуганно вздрагиваю, очнувшись от глубокого сна, и прислушиваюсь, прислушиваюсь к тишине – она царит здесь днем и ночью, она все та же, потом, успокоенный, улыбаюсь и, расслабив напряженные мышцы, отдаюсь еще более глубокому сну. Бедные, лишенные крова странники на шоссе, в лесах, в лучшем случае укрывшиеся в куче листвьев или среди товарищей, беззащитные перед всеми угрозами неба и земли! Я лежу здесь, на защищенной отовсюду площадке – больше пятидесяти таких мест есть в моем жилище, – и, выбирая по своей прихоти часы, я то погружаюсь в дремоту, то в глубокий сон.

Не совсем посередине жилья, в строго обдуманном месте на случай крайней опасности – не обязательно преследования, но осады – находится главная площадка. Если все остальное создано скорее напряженной деятельностью ума, чем тела, эта укрепленная площадка – плод тяжелейшей работы моего тела, притом всех его частей. Сколько раз, охваченный отчаянной физической усталостью, хотел я все бросить, валился на спину и, проклиная свое жилье, тащился наружу и оставлял жилье открытым. Я мог это сделать, ибо не намерен был возвращаться в него; но несколько часов или дней спустя я раскаивался, все же возвращался, чуть ли не пел хвалебную песнь нетронутости моего убежища и с искренней радостью снова брался за работу. Эту работу на главной площадке еще осложняла ее бесцельность (то есть она не приносила пользы, велась впустую); как раз там, где по плану была задумана эта укрепленная площадка, почва оказалась рыхлой и песчаной, землю приходилось прямо-таки спрессовывать, чтобы создать красиво закругленные стены и свод. Но для выполнения такой работы я мог действовать только собственным лбом. И вот тысячи и тысячи раз подряд, целые дни и ночи, я с разбегу бил лбом в эту землю и был счастлив, когда выступала кровь, ибо это являлось признаком того, что стена начинает отвердевать, и, таким образом, нельзя не согласиться, что я заслужил мою укрепленную площадку.

На эту площадку я собираю свои запасы и складываю здесь все, что после удовлетворения неотложных потребностей остается от пойманного в ходах и переходах и от добычи, принесенной с охоты вне дома. Главная площадка так велика, что даже запасы на полгода не заполняют ее всю. Поэтому я могу их раскладывать, прохаживаться между ними, играть с ними, наслаждаться их обилием и их разнообразными запахами и всегда знать точно, что имеется налицо. Я могу по-новому распределять их и, в зависимости от времени года, заранее составлять свои охотничьи планы. Порой я бываю настолько обеспечен, что из равнодушия к пище даже не трагою всю ту мелкоту, которая тут шныряет, а это – по другим причинам – может быть, и является неосторожностью. Постоянные занятия подготовкой к обороне приводят к тому, что мои взгляды на использование жилья в этих целях меняются или усложняются, хотя я, разумеется, и

ограничен тесными рамками. И тогда мне порой кажется опасным сосредоточение всех мер защиты на укрепленной площадке; ведь разнообразные части моего жилья дают и более разнообразные возможности, и мне представляется, что было бы благоразумнее, отделив часть запасов, разместить их на меньших площадках; поэтому я решаю отвести каждую третью под резервные запасы или каждую четвертую под основные запасы, а каждую вторую под дополнительные и так далее. Или я вообще исключаю с целью маскировки целый ряд ходов из числа хранилищ или избираю совсем неожиданно очень немного мест, в зависимости от их близости к главному выходу. Каждый такой новый план требует от меня тяжелой работы грузчика, ибо, следуя новым расчетам, мне приходится таскать тяжести туда и сюда. Правда, я могу это делать спокойно, не спеша, и уж не такое плохое занятие – таскать в пасти всякие вкусные вещи, время от времени отдохнуть где вздумается и лакомиться тем, чем захочется. Конечно, хуже, когда порой я вдруг испуганно просыпаюсь и мне чудится, что теперешнее распределение никуда не годится, угрожает большими опасностями и, невзирая на усталость и сонливость, необходимо сейчас же выправить положение; и я спешу, и я лечу, у меня нет времени для расчетов; но пытаясь осуществить совсем новый, очень точный план, я хватаю в зубы первое, что попадается, тащу, волоку, охаю, взываю, спотыкаюсь, и тогда любое случайное изменение существующего, кажущегося мне сверхопасным размещения запасов уже представляется достаточным. И лишь постепенно, когда я окончательно просыпаюсь и приходит отрезвление, мне становится едва понятной такая спешка, я глубоко вдыхаю покой и мир моего жилища, которые сам нарушил, я возвращаюсь на то место, где обычно сплю, вновь чувствую усталость и тут же засыпаю, а проснувшись наступаю – как неопровергимое доказательство словно приснившейся мне ночной работы – застрявшую между зубами крысу. Но потом опять наступают времена, когда соединение всех запасов на одной площадке кажется мне самым удачным планом. Чем помогут мне запасы на маленьких площадках и много ли можно там положить? Да и сколько бы я туда ни перенес, все это будет загораживать дорогу и, может быть, когда-нибудь при обороне и бегстве помешает мне. Кроме того, хотя это и глупо, но, право же, наша уверенность в себе страдает, если мы не видим всех запасов, собранных в одном месте, и не можем одним взглядом определить объем всего, чем владеем. Кроме того, при делении на части разве не может многое пропасть? Я же не в состоянии без конца носиться галопом по моим ходам, идущим вдоль и поперек, чтобы проверить, все ли в порядке.

В основном мысль о разделении запасов верна, если есть несколько мест, подобных моей укрепленной главной площадке. Несколько таких мест! Тогда конечно! Но кому это под силу? Да и в общий план моего жилья их теперь не внесешь. Однако я готов согласиться, что допустил ошибку в плане, ибо всегда возможны ошибки, если какой-нибудь план имеется в единственном экземпляре. И сознаюсь, все время, пока я строил свой дом, где-то во мне жила смутная мысль, но достаточно отчетливая: будь у меня желание все же иметь несколько укрепленных площадок, я бы этому желанию не уступил, я чувствовал себя слишком слабым для такой гигантской работы; да, я чувствовал себя слишком слабым, чтобы осознать до конца необходимость подобной работы, но как-то утешал себя не менее смутным ощущением, что если обычно этих мер защиты было бы недостаточно, то в моем случае, как исключение, вероятно, как милость, потому, что провидению особенно важно было сохранить мой лоб, мою трамбовку, сделанного оказалось бы достаточно. И вот у меня есть единственная укрепленная площадка, но неясные ощущения, что одной все же не хватит, исчезли.

Как бы то ни было, я должен довольствоватьсь ею, маленькие площадки никак не могут ее заменить, и вот, когда эта уверенность крепнет, я снова начинаю все перетаскивать с маленьких площадок на большую. Пока мне служит известным утешением то обстоятельство, что теперь все площадки и ходы свободны, что на укрепленной площадке громоздятся груды мяса и во все стороны, до самых внешних ходов, разносятся всевозможные запахи, из которых каждый по-своему восхищает меня, причем я издали могу определить любой из них. Тогда обычно наступают особенно мирные времена, я постепенно переношу места своихnochлегов все больше внутрь, как бы сухая круг, окунаясь в запахи все глубже, так что однажды ночью вдруг оказываюсь не в силах переносить их, бросаюсь на укрепленную площадку, решительно расправляясь с запасами, наедаясь до одурения самым лучшим, тем, что я больше всего люблю. Счастливые, но опасные времена; тот, кто решил бы воспользоваться ими, мог бы легко и не подвергая себя опасности погубить меня. И здесь снова оказывается отсутствие второй или третьей укрепленной площадки, ибо соблазняет меня именно огромное и единственное скопление пищи. Я пытаюсь всякими способами защититься от этого соблазна, ведь распределение запасов по маленьким площадкам – это мера подобного же рода; к сожалению, она, как и другие меры, ведет от воздержания к еще большей жадности, которая потом заглушает рассудок и своевольно изменяет планы обороны в угоду целям насыщения.

После таких периодов я обычно, чтобы овладеть собой, ревизую свой дом и, сделав необходимый ремонт, очень часто, хоть и недолго, покидаю его. Быть надолго лишенным моего убежища кажется мне слишком суровым наказанием, но необходимости небольших экскурсий я не могу не признавать. И всякий раз, приближаясь к выходу, я ощущаю некоторую торжественность. В периоды моей жизни дома я обхожу этот выход, избегаю даже вступать в последние разветвления ведущего к нему хода; да и не так легко там разгуливать, ибо я проложил там целую систему маленьких извилистых ходов; оттуда я начал строить свое жилье, я тогда еще не смел надеяться, что смогу сделать его таким, каким оно было намечено в плане, я начал, почти играя, с этого уголка, и впервые бурная радость труда вылилась в создание лабиринта, казавшегося мне в то время венцом строительного искусства, а теперь я, вероятно, справедливо оценил бы его как ничтожную, недостойную целого стряпню, хотя теоретически она, может быть, восхитительна: вот здесь вход в мой дом, иронически заявляя тогда незримым врагам и уже видел, как все они задыхаются в этом лабиринте; на самом же деле это слишком тонкостенная игрушка, которая едва ли устоит перед серьезным нападением или натиском отчаянно борющегося за жизнь противника. Нужно ли перестраивать эту часть? Я все откладывая решение, и, вероятно, она останется как есть. Помимо огромной работы, которую мне пришлось бы выполнить, она была бы и невообразимо опасной. Когда я начал, я мог работать сравнительно спокойно, риск был не больше, чем где-либо в другом месте, но теперь это значило бы привлечь почти преднамеренно всеобщее внимание к моему жилищу, и, значит, такая перестройка уже невозможна. Меня почти радует, что я отношусь столь бережно к своему первенцу. А если начнется серьезное нападение, то какое особое устройство входа может меня спасти? Вход может обмануть, увести нападающего в другую сторону, измотать его, а для этих целей, на худой конец, пригодится и теперешний. Но настоящему, серьезному нападению я должен противопоставить все оборонные качества моего жилья, все силы души и тела, что само собой понятно. Так пусть останется и вход. У моего жилья так много навязанных ему природой недостатков – пусть же останется и этот недостаток, созданный моими руками, хоть я и осознал его гораздо позднее, зато совершенно ясно. Однако я не хочу сказать, что этот промах не мучит меня время от времени, а может быть, и постоянно. И если я при своих обычных прогулках обхожу эту часть моего жилья, то главным образом потому, что вид ее мне неприятен, что не всегда хочется созерцать одну из погрешностей моего жилья, ибо эта погрешность и так уж чрезесчур тревожит мой ум. Пусть ошибка, допущенная там, наверху, у входа, неисправима, но я, пока возможно, хочу избегать ее лицезрения. Достаточно мне направиться в сторону выхода, и хотя меня еще отделяют от него множество ходов и площадок, мне уже кажется, будто я попал в атмосферу большой опасности, будто моя шкурка утончается и я скоро лишусь ее, окажусь голым и в это мгновение услышу торжествующий вой моих врагов. Разумеется, выходное отверстие вызывает такие мысли само по себе, ибо

перестаешь себя чувствовать под защитой домашнего крова; но особенно меня мучает несовершенство входа. И порой мне снится, будто я его переделал, совершенно изменил, быстро, с помощью каких-то гигантских сил, ночью, никем не замеченный, и теперь он неприступен; сон, во время которого мне это грезится, — самый сладкий, и когда я просыпаюсь, на моих усах еще блестят слезы радости.

Итак, муку лабиринта мне приходится преодолевать даже физически, когда я выхожу, и меня одновременно и сердит и трогает, что я иногда запутываюсь в собственном сооружении и оно как будто все еще силится доказать мне свое право на существование, хотя мой приговор давно уже вынесен. А потом я оказываюсь под покровом из мха, иногда я даю ему снова срастись с окружающей лесной почвой, и, пока этого не произойдет, не выхожу из жилья, а тогда достаточно легкого движения головой — и я на чужбине. На этот маленький рывок я долго не отваживаюсь, и если бы мне не надо было снова преодолевать лабиринт входа, я бы сегодня же отказался от выхода и вернулся бы домой. Ну и что же? Твой дом защищен, замкнут в себе. Ты живешь мирно, в тепле, в сътости, ты хозяин, единственный хозяин множества ходов и площадок, и всем этим ты, надеюсь, не намерен пожертвовать, но все же от чего-то надо будет отказаться; правда, ты уповаешь, что снова вернешь утраченное, и все-таки отваживаешься на высокую, слишком высокую ставку. Есть ли для этого разумные основания? Нет, для такого рода вещей не бывает разумных оснований. И вот я осторожно приподнимаю откинутую дверь — и я уже под открытым небом, я бережно спускаю ее и со всей быстротой, на какую способен, спешу прочь от предательского места.

Но все же я не на воле; правда, я уже не протискиваюсь через свои ходы, а свободно охочусь в лесу, чувствуя в теле прилив новых сил, для которых в моем жилище, так сказать, нет места — даже на укрепленной площадке, будь она хоть в десять раз больше. И пища в лесу лучше; правда, охотиться труднее, успех бывает реже, но результаты во всех отношениях важнее, всего этого я не отрицаю, умею их оценить и ими наслаждаться не хуже всякого другого и, вероятно, даже гораздо лучше, ведь я не охочусь, словно какой-нибудь бродяга, от легкомыслия или отчаяния, а целеустремленно и спокойно. Да я и не предназначен для свободной жизни и не отдан ей во власть, ибо я знаю, что время мое отмерено, я не буду безгранично разгуливать здесь по земле, а когда я захочу и устану от жизни, меня в известном смысле как бы призовет к себе некто, чьему зову я не буду в силах противиться. Поэтому я могу наслаждаться этим временем полностью и провести его беззаботно, вернее — мог бы и все-таки не могу. Мои мысли чесречур заняты моим жильем. Вот я быстро отбежал от входа, но скоро возвращаюсь. Отыскиваю хорошо укрытое местечко и подсматриваю за входом в мой дом — теперь уже снаружи — дни и ночи напролет. Пусть назовут это безрассудным, но это доставляет мне невыразимую радость, успокаивает. У меня возникает тогда такое чувство, словно я стою не перед своим домом, а перед самим собой, словно я сплю и мне удается, будучи погруженным в глубокий сон, одновременно бодрствовать и пристально наблюдать за собой. Я в известном смысле как бы предназначен к тому, чтобы видеть призраки ночи не только в беспомощном простодушии сна, а одновременно встречаться с ними реально, вполне бодрствующим и владеющим спокойной способностью суждений. И я нахожу, что, как это ни странно, мое состояние не так уж плохо, как мне частенько казалось и, вероятно, снова будет казаться, когда я спущусь в свое жилище. В этом отношении — хотя, должно быть, и во многих других — мои экскурсии совершенно необходимы. Конечно, как ни тщательно я выбирал место для жилья подальше от движения, это движение, если обобщить наблюдения целой недели, все же очень велико, но, может быть, оно такое же во всех населенных местностях, и, может быть, даже лучше иметь дело с большим движением, которое вследствие своей силы само себя мчит дальше, чем жить среди полного уединения и оказаться с глазу на глаз с первым попавшимся, обстоятельно все обнююхающим пронырой. Здесь есть множество врагов и еще больше их сообщников, но они борются друг с другом и, занятые этим, проносятся мимо моей норы. За все это время я ни разу не видел у самого входа никого, кто бы что-то выслеживал, не видел — к моему и его счастью, ибо я, обезумев от страха за свое жилище, вцепился бы ему в горло. Правда, появлялся и такой народ, в чьем соседстве я не решился бы находиться, и едва я еще издали замечал, что кто-то из них приближается, я вынужден был бежать — ведь об их отношении к моему жилищу я ничего не мог бы сказать с уверенностью; но меня успокаивало то, что я скоро возвращался и никого из них уже не видел, а вход оставался явно нетронутым. Выпадали счастливые дни, когда я был готов сказать себе, что враждебность мира ко мне, может быть, кончилась или утихла или что мощь моего жилища вынесет меня из той войны на уничтожение, которая велась до сих пор. Это жилище защищает меня, быть может, лучше, чем я мог предполагать или надеяться, находясь внутри его. Дело дошло до того, что у меня иногда возникало ребяческое желание никогда больше не возвращаться в нору, а переселиться здесь, вблизи входа, провести остаток жизни, созерцая этот вход, и постоянно напоминать себе — испытывая при этом счастье, — насколько надежно мое жилье и что если бы я укрылся в нем, как хорошо оно защитило бы меня от всякой опасности. Что ж, от детских снов мы пробуждаемся, испуганно вздрагивая. Какова же эта хваленая защищенность? И разве могу я судить об угрожающих мне в доме опасностях по тем наблюдениям, какие делаю здесь, снаружи? И разве моих врагов может вести верный нюх, когда меня дома нет? Кое-что они чуют, но лишь немногое. А если чуешь все, то не является ли это очень часто предпосылкой реальной опасности? Итак, то, что я здесь придумываю, лишь убогие и тщетные попытки самоуспокоения, и это обманчивое самоуспокоение может навлечь на меня гораздо более грозную опасность. Нет, не я наблюдаю, как думал, свой сон, скорее я сам сплю, а это бодрствует мой погубитель. Может быть, он среди тех, кто не спеша проходит мимо моего жилища и только каждый раз проверяет, как и я, в сохранности ли дверь и ждет ли она их нападения, а идут они мимо лишь потому, что, как им известно, хозяина дома нет или даже что он простодушно притаился рядом в кустах. И тогда я покидаю свой наблюдательный пост, я ссыт жизнью на воле, мне кажется, я уже ничему не могу здесь научиться ни теперь, ни после. И мне хочется распрошаться со всем, что вокруг меня, спуститься в мое подземелье и уже никогда не выходить оттуда, предоставить событиям идти своим путем и не задерживать их бесполезными наблюдениями. Но мне, избалованному тем, что я так долго видел все совершающееся над моим входом, мне теперь крайне мучительно выполнять процедуру, связанную со спуском в подземелье, ибо она уже сама по себе должна привлечь внимание и мне тяжело не знать, что будет происходить за моей спиной, а потом и над опущенной дверью входа. Я пробую в бурные ночи быстро сбрасывать вниз добычу, и это как будто удается, но действительно ли оно удалось — станет ясно, только когда я опущусь сам, вот тогда оно станет ясно, но уже не мне, а если и мне, то слишком поздно. Поэтому я решаю воздержаться и не опускаюсь. Я рою — разумеется, в достаточном отдалении от настоящего входа — временный ров, он не длиннее меня самого и тоже замаскирован покровом мха. Я заползаю в ров, прикрываюсь мхом, терпеливо жду, иногда произвожу свои расчеты быстрее, иногда медленнее — в разные часы дня, затем сбрасываю мох, вылезаю и регистрирую свои наблюдения. Я накапливаю самый разнообразный жизненный опыт — положительный и отрицательный, но ни каких-либо общих правил для спуска, ни безошибочного метода мне найти не удалось. В результате я еще ни разу не спустился по настоящему входу, и я впадаю в отчаяние, что скоро это все-таки придется сделать. Я недалек от решения уйти отсюда, продолжать прежнюю безотрадную жизнь, в которой не было никакой защищенности, а лишь сплошная неразличимая масса опасностей и, возможно, отдельная опасность была не столь заметна и не столь страшна, как учит меня сравнение между моим надежным жильем и остальной действительностью. Конечно, такое решение, вызванное только слишком долгим пребыванием на бессмысленной свободе, было бы отчаянной глупостью; жилье еще принадлежит мне, достаточно сделать шаг — и я в безопасности. И я вырываюсь из тисков всех

сомнений и среди беда дня бегу прямо к двери, чтобы уже наверняка поднять ее, но я уже не могу этого сделать, я миную ее и нарочно кидаюсь в заросли терновника, желая наказать себя, наказать за вину, которой не ведаю. И тогда я в конце концов вынужден признать, что все-таки был прав и что спуститься на самом деле невозможно, иначе я хотя бы на несколько мгновений отдал самое дорогое, что у меня есть, во власть всех, кто находится вокруг меня – на земле, на деревьях, в воздухе. И опасность эта вовсе не воображаемая, а очень реальная. Ведь тот, у кого возникнет охота последовать за мной, может вовсе и не быть настоящим врагом, это может быть любой простачок, любая противная маленькая тварь, которая пойдет за мной из любопытства, а потом, сама того не ведая, станет предводительницей всего мира, восставшего против меня; и даже такой тварью она может не быть; возможно – и это нисколько не лучше первого, во многих отношениях это даже самое худшее, – возможно, что врагом окажется кто-нибудь из моей же породы, знаток и ценитель вырытых нор, один из лесных братьев, любитель тишины, но ужасный негодяй, который хочет получить жилище, не трудясь. И если бы он сейчас явился, если бы он с помощью своего низкого вожделения обнаружил вход, если бы он начал поднимать мох, если бы это ему удалось, если бы только он протиснулся внутрь вместо меня и ушел бы настолько далеко вперед, что его зад только мелькнул бы передо мной, – если бы все это случилось, я бы наконец, разъяренный, забыв обо всех колебаниях, бросился на него и загрыз, растерзал, разорвал, выпил его кровь, а труп сунул бы к остальной добыче, но прежде всего – и это главное – я очутился бы опять в моем убежище и теперь даже стал бы восхищаться лабиринтом, и прежде всего мне захотелось бы натянуть над собой покров из мха и отдохнуть, как мне кажется, весь остаток моей жизни. Но никого нет, и я остаюсь наедине с самим собой. Так как я непрерывно занят трудностями этого предприятия, значительная часть моей боязливости все-таки исчезла, я теперь и фактически не избегаю входа – кружить возле него становится моим любимым занятием, может даже показаться, что я сам – враг и выслеживаю подходящую минуту, чтобы успешно вломиться в подземелье. Будь у меня хоть кто-нибудь, кому я мог бы доверять, кого мог бы поставить на свой наблюдательный пост, тогда я спокойно сошел бы вниз! Я бы условился с ним, с тем, кому я доверял бы, чтобы он внимательно наблюдал за ситуацией при моем спуске и долгое время после него, а в случае каких-либо признаков опасности постучал бы в покров из мха, но только в этом случае. Так надо мной все было бы завершено, ничего бы не осталось, самое большое – доверенное лицо. А разве он не потребует ответной услуги? Не захочет по крайней мере осмотреть мое жилье? Одно это – добровольный допуск кого-то в мой дом – было бы для меня крайне тягостно. Я построил его для себя, не для гостей, и думаю – я не впустил бы это доверенное лицо, даже если бы благодаря ему получил возможность вернуться к себе, даже этой ценой не впустил бы. Да я бы и не мог впустить его, ведь тогда пришлось бы ему или войти одному (а это невозможно себе представить), или мы должны были бы войти вместе, и тогда я лишился бы главного преимущества, вытекающего из его присутствия, а именно тех наблюдений, которыми он должен был бы заняться после моего ухода. Да и как доверять? Разве можно тому, кому я доверяю, глядя в глаза, доверять так же, когда я его уже не вижу и мы разделены покровом из мха? Относительно легко доверять кому-нибудь, если за ним следишь или хотя бы имеешь возможность следить; можно даже доверять издали; но из подземелья, следовательно из другого мира, доверять в полной мере кому-либо, находящемуся вне его, мне кажется, невозможно. Впрочем, все эти сомнения не нужны, достаточно понять, что во время или после моего спуска бесчисленные случайности жизни могут помешать моему доверенному лицу выполнить свои обязанности, а мне малейшая помеха в его наблюдениях грозит невообразимыми бедами. Нет, если все это представить себе, то нечего жаловаться, что я один и мне некому доверять. От этого я не лишусь ни одного из своих преимуществ, а ущерба, наверно, избегну. И доверять я могу только себе и своему жилью. Мне следовало об этом подумать раньше и на случай вроде теперешнего, который меня так тревожит, принять соответствующие меры. В начале строительства моего жилья я мог бы хоть отчасти это сделать. Следовало так проложить первый ход, чтобы на достаточном расстоянии друг от друга в моем распоряжении имелись два входа, так что я, спустившись в первый со всей необходимой осмотрительностью, быстро пробежал бы по первому ходу до второго входа, слегка сдвинул бы покров из мха, предназначенный для этой цели, и мог бы оттуда в течение нескольких дней и ночей обозревать местность. Только такое устройство было бы правильным. Правда, два входа удваивают опасность, но здесь это соображение не играет роли: ведь один вход мыслится только как наблюдательный пункт и мог бы быть очень узким. И тут я углубляюсь в технические расчеты, начинаю снова грезить о совершенном убежище, и это немножко успокаивает меня; закрыв глаза, я с восторгом рисую себе вполне и не вполне отчетливые возможности создать такое жилье, чтобы из него легко было выскальзывать и проскальзывать обратно.

Когда я вот так лежу и думаю, я оцениваю эти возможности очень высоко, но лишь как техническое достижение, а не как подлинные преимущества, ибо беспрепятственное проскальзывание наружу и внутрь – на что оно? Оно оказывает на беспокойный дух, на нетвердую самооценку, на нечистые вожделения, на дурные черты характера, а они выглядят еще хуже перед лицом моего жилища, которое стоит нерушимо и может влиться в нас мир, если только мы целиком откроемся его воздействию. Правда, сейчас я нахожусь вне его пределов и ищу способа вернуться; тут некоторые технические улучшения можно было бы только приветствовать. Но, пожалуй, это не так уж важно. Разве, когда ты охвачен нервным страхом и видишь в жилье только нору, в которую можно уползти и быть в относительной безопасности, – разве это не значит слишком недооценивать значение жилья? Правда, оно и есть безопасная нора или должно ею быть, и если я представлю, что окружена опасностью, тогда я хочу, стиснув зубы, напрячь всю свою волю, чтобы мое жилье и не было ничем иным, кроме дыры, предназначенной для спасения моей жизни, чтобы эту совершенно ясно поставленную задачу оно выполняло с возможным совершенством, и готов освободить его от всякой другой задачи. Но в действительности – а при большой беде эту действительность не очень-то замечаешь, однако даже в опаснейшие времена нужно приучать себя видеть ее – жилище хоть и дает ощущение безопасности, все же далеко не достаточное, и разве могут когда-нибудь тревоги умолкнуть в нем навсегда? Это другие, более гордые и содергательные, нередко все иное оттесняющие тревоги и заботы, но их разрушительное действие, быть может, не меньше, чем действие тех тревог, которые нам уготованы жизнью за пределами жилья. Если бы я создал свое жилище, только чтобы застраховать свою жизнь, я, правда, не был бы обманут, но соотношение между чудовищной работой и степенью реальной безопасности, во всяком случае в той мере, в какой я могу ее воспринимать и ею пользоваться, оказалось бы для меня неблагоприятным. Очень мучительно признаваться себе в этом, но такое признание неизбежно, и особенно имея в виду вон тот вход, который от меня, строителя и владельца, замкнулся, он точно сжат судорогой. Ведь жилье – это не просто спасительная нора. Когда я стою на главной укрепленной площадке, окруженной высокими грудами мясных запасов, повернувшись лицом к десяти ходам, ведущим отсюда вглубь, причем каждый по отношению к главной площадке под определенным углом опускается или поднимается, вытягивается или закругляется, расширяется или суживается и все одинаково тихи и пусты и готовы, каждый на свой лад, вести меня дальше, к другим площадкам, а те тоже тихи и пусты, – тогда я не думаю о безопасности, тогда я знаю только, что здесь моя крепость, которую я, скребя я кусая, утаптывая и толкая, отвоевал у неуступчивой земли, моя крепость, которая никак не может принадлежать никому другому и настолько моя, что я здесь в конце концов спокойно приму от врага и смертельную рану, ибо кровь моя впитается в родную землю и не исчезнет. И разве не в этом кроется смысл тех блаженных часов, которые я, отдаваясь одновременно и мирной дремоте и веселому бодрствованию, провожу обычно в ходах моего жилья, в ходах, предназначенных именно для меня, ибо я в них блаженно потягиваюсь, ребячливо перекатываюсь с боку на бок,

лежу в мечтательной неподвижности или спокойно засыпаю. А маленькие площадки, из которых каждая мне так знакома и я каждую, несмотря на их одинаковость, отлично узнаю с закрытыми глазами по изгибу ее стен, площадки, мирно и тепло охватывающие меня, как никакое гнездо не охватит птицу, и где всюду, всюду тихо и пусто.

Но если это так, то почему же я медлю, почему больше боюсь вторжения, чем опасности никогда, быть может, не увидеть опять моего жилья? Ну, последнее, к счастью, невозможно; мне совсем не нужно с помощью каких-то размышлений еще доказывать себе, какое значение для меня имеет это убежище; я и жилье – мы одно, и я мог бы спокойно – спокойно, невзирая на весь мой страх, – поселиться в нем навсегда. Для этого вовсе не надо преодолевать себя и вопреки всем сомнениям открыть вход; было бы совершенно достаточно, если бы я пассивно стал ждать, ибо ничто не может нас разлучить надолго и уж я как-нибудь да спущусь. Вопрос в том, сколько времени пройдет до тех пор и что может за это время случиться – и наверху, и внизу. Только от меня зависит сократить срок и сделать сейчас же все необходимое для моего спуска.

И вот, уже не способный думать и обессиленный усталостью, с опущенной головой и дрожащими ногами, уже полуспящий, скорее пробираясь ощущуя, чем шагая вперед, я подхожу к отверстию, медленно откidyваю моховой покров, медленно опускаюсь, по рассеянности оставляю вход слишком долго открытый, потом вспоминаю об этом и снова поднимаюсь к отверстию, чтобы исправить свою ошибку, но для чего подниматься? Достаточно только затянуть моховой покров, вот так, и я наконец-то опускаю его над собой. Только в таком состоянии, только в таком, я способен это сделать. И вот я лежу под мхом, поверх принесенной добычи, кругом течет кровь и мясные соки, и тут я мог бы заснуть желанным сном. Ничто не мешает, никто за мной не следовал; над покровом из мха, по крайней мере до сих пор, все кажется спокойным, а если бы даже и не так, у меня не хватило бы сил задержаться сейчас для наблюдений; я переменил место, из внешнего мира я спустился в свою обитель и действие этой перемены ощущаю сейчас же. Меня обступил новый мир, дающий новые силы, и то, что наверху кажется усталостью, здесь не считается ею. Я просто вернулся из путешествия, безумно измотанный от его трудностей, но свидание с прежним жилищем, ожидающая меня работа по его благоустройству, необходимость быстро и хотя бы поверхностно осмотреть все помещения и, главное, в первую очередь пробраться на укрепленную площадку – все это превращает мою усталость в тревогу и рвение, словно в ту минуту, когда я вступил в свое жилье, я забылся долгим и глубоким сном. Первая задача очень утомительна и требует отчаянного напряжения: нужно протащить добычу через узкие и слабостенные ходы лабиринта. Напрягая все силы, я успешно продвигаюсь вперед, но, на мой взгляд, слишком медленно. Чтобы ускорить движение, я оттесняю назад часть мясных масс, протискиваюсь вперед по ним, через них, теперь передо мной только часть добычи, теперь мне легче толкать ее; но я до такой степени зажат этим обилием мяса здесь, в узких ходах, через которые мне, даже когда я ничего не тащу, бывает трудно продвигаться, что я мог бы просто задохнуться среди собственных запасов; иногда я спасаюсь от их напора только тем, что начинаю есть и пить. Но вот транспортировка удалась, я довольно быстро заканчиваю ее, проталкиваю добычу через боковой переход в особо предназначенный для таких случаев главный ход, который круто спускается к укрепленной площадке. Теперь уже не нужны усилия, теперь все скатывается и стекает вниз само собой. И я наконец-то оказываюсь на своей укрепленной площадке. Наконец-то мне можно будет отдохнуть. Все осталось в моем жилье неизменным, никакой особой беды, видимо, не случилось, маленькие повреждения, с первого взгляда замеченные мною, будут очень скоро исправлены, только сначала нужно совершить длинное путешествие по всем ходам, но это нетрудно, это все равно что поболтать с друзьями, как я болтал в былье дни – я вовсе еще не так стар, но многое у меня уже меркнет в памяти, – как я болтал в былье дни или слышал от других, что так болтают с друзьями. Осмотрев укрепленную площадку, я иду по второму ходу, намеренно не спеша, ведь времени у меня сколько угодно – в моем жилье у меня времени всегда сколько угодно, – ибо все, что я там делаю, хорошо и важно и до известной степени удовлетворяет меня. Я двигаюсь по второму ходу, прерываю свою ревизию на полупути, перехожу в третий, покорно следя ему, возвращаюсь на укрепленную площадку, поэтому должен опять начать со второго и так играю с работой, умножаю ее, и смеюсь про себя, и радуюсь, и ошелевша от обилия работы, но не отступаю от нее. Ведь ради вас, ходы и площадки, и прежде всего ради твоих вопросов, главная укрепленная площадка, пришел я сюда, рисковал жизнью, после того как имел глупость долгое время дрожать за нее и откладывать свое возвращение к вам. Какое мне дело до опасностей, когда я с вами! Ведь вы – часть меня, а я – часть вас, мы связаны друг с другом, что может с нами приключиться? Пусть наверху уже теснится чернь и уже высунулась морда, которая готова прорвать покров из мха. Своей немотой и тишиной приветствует меня жилье и подтверждает мои слова. Но мной все же овладевает какая-то вялость, и на одной из площадок – она в числе моих любимых – я слегка свертываюсь клубком; правда, я осмотрел еще далеко не все и намерен осмотреть жилье до конца, я не хочу здесь спать, а только уступаю соблазну уютно улечься для пробы, будто собираюсь поспать, хочу проверить, удастся ли это мне, как и раньше. И оно удается, но мне не удается вырваться из плена одолевающей меня дремоты, и я погружаюсь в глубокий сон.

Должно быть, я проспал очень долго. И только в конце сна, когда он уже уходит сам, я почему-то пробуждаюсь, сон мой, вероятно, очень легок, ибо меня будит едва слышное шипенье. Я тотчас понимаю, в чем дело, это мелюзга, на которую я обращаю слишком мало внимания и которую слишком щажу, в мое отсутствие где-то прорыла себе новый ход, он столкнулся со старым, воздух там задерживается, отсюда и шипящий звук. Какой это неутомимый деятельный народец и как раздражает его усердие! Мне придется, тщательно прослушивая стены моего хода и производя пробные раскопки, сначала установить место, откуда исходит шипящий звук; лишь после этого можно будет устранить его. Впрочем, новый ход, если он окажется в каком-то соответствии с планом моего жилища, быть может, послужит для меня новым желанным воздухопроводом. А за всей этой мелюзгой я буду следить теперь гораздо внимательнее, никто не получит пощады.

Так как у меня большой опыт в подобных обследованиях, то, вероятно, много времени мне не понадобится, я могу сейчас же приняться за дело, и хотя мне предстоят еще другие работы, эта – самая срочная, ибо в моих ходах должна царить тишина. Впрочем, этот слабый шипящий звук довольно безобидный; когда я вернулся, я его совсем не слышал, хотя он, наверно, и тогда уже существовал; но мне надо было сначала вполне почувствовать себя дома, чтобы услышать его, такие звуки улавливает лишь слух домовладельца. И он даже не постоянный, какими бывают обычно подобные шумы, он прерывается большими паузами, и это, видимо, зависит от напряжения воздушного потока. Я начинаю обследование, однако мне не удается определить место, где нужно копать; правда, я рою то там, то здесь, но наугад; конечно, так ничего не добьешься, бесполезным окажется и тяжелый труд раскопывания и еще более тяжелый – засыпки землей и разравнивания. Я нисколько не приближаюсь к месту, откуда исходит звук, он все такой же однообразный и слабый, с равномерными паузами, он похож то на шипенье, то на свист. Ну, я мог бы пока оставить его таким, какой он есть, хотя он очень раздражает, но в предполагаемом мною источнике звука не может быть сомнений, поэтому он едва ли будет усиливаться, скорее, наоборот, может случиться – правда, до сих пор я еще ни разу не ждал так долго, – что с течением времени этот шорох, по мере того как

работают маленькие бурильщики, исчезнет сам собой, не говоря уже о том, что на след нарушителя нас нередко наводит простая случайность, тогда как систематические поиски долгое время ничего не дают. Так я утешаю себя, я предпочел бы побродить по ходам и навестить площадки, многих я после возвращения еще не видел, да мимоходом порезвиться на главной площадке, но что-то толкает меня, я вынужден продолжать поиски. Да, много, много времени отнимает у меня этот народец. Обычно в подобных случаях меня привлекает чисто техническая проблема. Я, например, по характеру звука, все тончайшие особенности которого мое ухо отлично различает, определяю совершенно точно его причину, и меня тянет проверить, соответствует ли моя догадка действительности. И это правильно, ибо, пока причина не установлена, я не могу чувствовать себя уверенно, даже если бы речь шла лишь о том, куда скатится песчинка, падающая со стены. А такой шипящий звук с этой точки зрения событие довольно важное. Но важное или не важное, как я ни ищу, я ничего не нахожу или, вернее, нахожу слишком многое. Именно на моей любимой площадке должно было это случитьсяся, думаю я, отхожу как можно дальше, почти на середину хода, ведущего к следующей площадке; все в целом – это же просто-напросто шутка, словно я хочу доказать, что не только моя любимая площадка приготовила мне эту помеху, но помехи есть и в других местах; и я, улыбаясь, начинаю прислушиваться, но скоро перестаю улыбаться: такое же шипение действительно слышится и здесь. В сущности ничего нет, иногда мне кажется, что никто, кроме меня, ничего и не услышал бы, но я своим натренированным слухом слышу его все отчетливее, хотя повсюду это те же самые звуки, как я убеждаюсь, сравнивая их между собой. И они не усиливаются – мне это ясно, когда я прислушиваюсь не у самой стены, а стоя посреди хода. Тут, чтобы услышать это слабое шипение, я должен напрягать слух, время от времени сосредоточиваться, и тогда до меня доходит даже не звук, а скорее как бы дыхание звука. Но как раз эта его одинаковость, которую я наблюдаю из разных точек, больше всего и тревожит меня, ибо она не согласуется с моим прежним предположением. Если бы я верно отгадал источник звука, он должен был бы исходить из одного определенного места и потом все ослабевать по мере моего удаления от него. Но раз мое объяснение не подходит, то что же это такое? Быть может, существуют два центра звуков, и я до сих пор прислушивался вдалеке от обоих центров, а когда приближался к одному из них, звуки, правда, усиливались, но звуки другого соответственно ослабевали, и для слуха это далекое шипение оставалось примерно все таким же. Порой мне казалось, что, когда я особенно напряженно вслушивался, я даже улавливал звуки различной высоты, что соответствовало моему новому предположению, хотя и доносились они очень смутно. Во всяком случае, область исследования нужно было значительно расширить. Поэтому я спускаюсь по ходу до укрепленной площадки и там начинаю слушать. Странно, совершенно тот же звук я слышу и здесь. Очевидно, его производят, роя землю, какие-то ничтожные твари, которые подлым образом воспользовались моим отсутствием; во всяком случае, они далеки от всяких злоумышленных действий против меня, они просто заняты своей работой, и пока на их пути не возникнет препятствие, они будут держаться взятого ими направления; все это я знаю, однако не могу понять; волнует меня и вносит путаницу в мои мысли – хотя трезвость рассудка мне так необходима для моей работы – тот факт, что они дерзнули добраться до укрепленной площадки. Что послужило этому причиной – я не хочу разбираться: немалая глубина, на которой лежит укрепленная площадка, или ее протяженность и поэтому сильные воздушные потоки, отпугнувшие роющих, или то, что это главная укрепленная площадка и что самый этот факт каким-то путем все же дошел до них, несмотря на их тупость. Однако я еще не замечал, чтобы кто-то рыл стены укрепленной площадки. Правда, животные и раньше подходили близко, во множестве привлеченные резкими запахами, здесь я мог постоянно охотиться, но они проникали откуда-то сверху в мои ходы и потом сбегали по ходам вниз, робея, но неудержимо стремясь вперед. Теперь же они буравили стены. Если бы мне хоть удалось осуществить планы моей юности и первых лет зрелости, вернее, если бы я имел силу их осуществить, ибо в добром воле недостатка не было. Один из этих любимых планов состоял в том, чтобы отделить укрепленную площадку от окружающей земли, то есть оставить ее стены толщиной, примерно равной моему росту, и создать вокруг укрепленной площадки пустое пространство, соответствующее размерам стен, все же сохранив, увы, маленький, не отделимый от земли фундамент. Это пустое пространство я всегда рисовал себе – и не без основания – как самое лучшее место для жизни, какое только могло существовать для меня. Висеть на этом своде, подниматься, скользить вниз, перекувыркиваться, снова ощущать под ногами твердую почву, играть во все эти игры прямо-таки на теле укрепленной площадки и все же не на ней; получить возможность избегать ее, дать глазам отдохнуть от нее, откладывать на время радость встречи с ней и все же не утратить ее, вцепиться в эту площадку когтями, что невозможно, если иметь только один, обычный ход, ведущий к ней; и прежде всего –стеречь ее; возможность выбирать между укрепленной площадкой и пустым пространством как награду за разлуку с ней, выбрать навсегда пустое пространство и бродить по нему назад и вперед, защищая площадку. Тогда не возникло бы в стенах никаких звуков, никакого нахального рытья чуть не под самой площадкой, тогда там воцарился бы мир и я был бы его сторожем; тогда я не прислушивался бы с отвращением к возне мелюзги, но с восторгом к тому, что сейчас совершенно от меня ускользает: к шелесту тишины на этой площадке. Однако всего этого нет, хотя оно и прекрасно, а мне пора приниматься за работу, и мне следовало бы радоваться, что она имеет прямое отношение к укрепленной площадке, ибо мысль о ней окрыляет меня. Правда, как постепенно выясняется, мне нужны все мои силы для этой работы, которая вначале казалась пустяковой. Я теперь прослушиваю стены укрепленной площадки, и, как бы я их ни прослушивал – наверху или у основания, у входов или внутри, – везде, везде все тот же тихий шипящий звук. А сколько времени, какого напряжения требует это долгое слушанье прерываемых паузами звуков! Если хочешь, маленько утешение и повод для самообмана можно найти в том, что здесь, на укрепленной площадке, когда отнимаешь ухо от земли, то, в отличие от ходов, ничего из-за ее размеров не слышишь. Только чтобы отдохнуть, чтобы опомниться, повторю я очень часто этот опыт, напрягаю слух и счастлив, что ничего не слышу. Но что же в сущности произошло? Мои первоначальные объяснения ничего не дают. Но и другие предположения я вынужден отклонить. Можно было бы допустить, что этот шум производят сами мелкие твари, занятые работой. Однако это противоречило бы всему моему опыту; ведь того, чего я не слышал раньше, хотя оно всегда существовало, я не могу вдруг начать слышать теперь. Может быть, с годами моя чувствительность к помехам в моем жилье обострилась, но слух нисколько не стал тоньше. В том-то и состоит особенность мелких тварей, что они неслышны. Разве я бы иначе это стерпел? Рискуя умереть с голоду, я бы изгнал их навсегда. А может быть – и такая мысль закрадывается мне в голову, – тут действует животное, которое мне еще неведомо? Возможно. Правда, я уже давно и очень внимательно наблюдаю жизнь здесь, под землей, но ведь мир многообразен и неприятных сюрпризов в нем достаточно. Но тогда это не одно животное, а, вероятно, большое стадо, вдруг вторгшееся в мои владения, большое стадо маленьких животных, и поскольку их слышно, они, вероятно, крупней мелкой твари, но едва ли намного, ибо шум от их работы сам по себе ничтожен. Это могли бы быть неведомые животные, некое кочующее стадо, которое только проходит мимо и нарушает мой покой и чье прохождение скоро кончится. Так что я мог бы, собственно говоря, подождать и не делать лишней работы. Но если это неведомые животные, почему я их не вижу? Я уже рыл во многих местах, чтобы схватить хоть одно из них, но ни одного не нахожу. И тут мне приходит в голову, что это, может быть, совсем крошечные животные, гораздо меньше известных мне, и только шум они производят более сильный. И вот я обследую вырытую землю, подбрасываю вверх комья, чтобы они рассыпались на крошечные частицы, но шумливых невидимок там не оказывается. Постепенно мне становится ясно, что таким случайным мелким рытьем я ничего не достигну, я только порчу стены своего жилья, наспех шарю то там, то здесь, не успеваю засыпать ямки, во многих местах уже лежат кучи земли, которые мешают двигаться и видеть. Правда, все это – второстепенные заботы, я теперь не могу ни странствовать по

своему жилищу, ни смотреть по сторонам, ни отдохнуть, несколько раз я уже засыпал в какой-нибудь ямке, запустив одну лапу в землю над головой, так как хотел в полусне вырвать из нее комок. Теперь я решил изменить метод. Я буду рыть в направлении звука настоящий большой ров и не перестану до тех пор, пока, независимо от всяких теорий, не обнаружу его истинную причину. И тогда я устранию ее, если это окажется в моих силах, если же нет, то хоть буду знать наверное, в чем дело. И это знание принесет мне либо успокоение, либо отчаяние, но пусть будет как будет – то или другое; оно будет бесспорным и оправданным. От этого решения мне становится легче. Все, что я делал до сих пор, мне кажется, делалось слишком спешно; я был взволнован возвращением, еще не освободился от тревог внешнего мира, еще не окунулся целиком в мирную жизнь убежища, и, став сверхчувствительным из-за того, что так долго был его лишен, я заранее приписал явлению какую-то загадочность и совсем потерял голову. А в чем же дело? Легкое шипенье, разделенное долгими паузами, ничтожный звук, к которому я не скажу, чтобы можно было привыкнуть, нет, привыкнуть к нему нельзя, но можно было бы, не предпринимая тут же чего-то, некоторое время сначала понаблюдать его, то есть через каждые два-три часа прислушиваться к нему и терпеливо отмечать это явление, а не ползать ухом по стенам и почти каждый раз, как его услышишь, сейчас же разрывать землю, даже не стремясь что-либо найти, а просто желая дать исход внутреннему беспокойству. Надеюсь, отныне будет по-другому. И опять-таки не надеюсь – лежа с закрытыми глазами, в бешенстве на самого себя, я вынужден в этом себе признаться, ибо от беспокойства все дрожит во мне ничуть не меньше, чем несколько часов назад, и, если бы рассудок не удерживал меня, я, вероятно, охотнее всего начал бы где попало – слышно там что-нибудь или не слышно – упрямо и тупо рыть землю только ради самого рытья, почти как мелкие твари, которые роют или совсем без смысла, или потому, что они жрут землю. Мой новый разумный план привлекает меня и не привлекает. Против него ничего не возразишь, по крайней мере я не нашел бы что возразить, и он должен, насколько я понимаю, привести к цели. И все-таки в глубине души я в него не верю, не верю настолько, что даже не боюсь возможных ужасов, которые он может повлечь за собой, не верю в какие-либо ужасные последствия; мне даже кажется, я уже с самого начала, услышав впервые необъяснимый шипящий звук, подумал о таком методическом копании рва, и только потому, что не был уверен в его целесообразности, до сих пор не приступал к делу. Все же я, разумеется, примусь за этот ров, другого выхода у меня нет, но начну я не сейчас, я эту работу немного отложу. Если здравый смысл опять взьмет верх, то пусть уж до конца, и я не сразу ринусь в эту работу. Сначала я, во всяком случае, исправлю повреждения, которые причинил своему жилью, копая наугад; времени понадобится для этого немало, но сделать это необходимо; новый ров, если он действительно приведет к цели, будет, вероятно, очень длинным, а если не приведет ни к какой цели – он будет бесконечным; во всяком случае, такая работа заставит меня на продолжительное время удаляться от жилья, это будет не так плохо, как пребывание на поверхности земли, я смогу делать перерывы в работе, когда захочу, иходить домой в гости, и даже если я не буду этого делать, то ко мне будет проникать воздух с укрепленной площадки и овеять меня во время работы: все же я удаляюсь от своего жилья и подвергну себя риску неведомой судьбы, поэтому я хочу оставить после себя все в полном порядке, иначе выйдет так, что я, боровшийся за его покой, сам этот покой нарушил и тут же не восстановил. И вот я начинаю с того, что загребаю обратно в ямки вырытую оттуда землю, работа мне слишком хорошо знакомая, я выполнял ее бесчисленное множество раз, почти не ощущая как работу, особенно это касается последнего утрамбовывания и выравнивания, – и это, конечно, не самовосхваление, а просто правда – я способен выполнять ее с непревзойденным мастерством. Но сейчас мне трудно, я слишком рассеян, посреди работы я все вновь и вновь прикладываю ухо к стене, слушаю и равнодушно предоставляю едва собранной в кучу земле снова сползать на дно хода. Последние работы по отделке жилья, требующие более напряженного внимания, я едва в силах выполнять. Неуклюжие бугры, безобразные трещины остаются, уже не говоря о том, что прежний изгиб нескладно залатанной стены не удается восстановить. Я стараюсь утешить себя тем, что все это лишь предварительные меры. Когда я вернусь и спокойствие будет восстановлено, я окончательно исправлю погрешности, тогда все удастся сделать мигом. Да, в сказках все совершается мигом, и подобное утешение тоже сказка. Было бы лучше сейчас же закончить всю работу, гораздо полезнее, чем то и дело прерывать ее, странствовать по ходам и устанавливать новые точки, где слышен шипящий звук, что отнюдь не трудно – достаточно остановиться в любом месте и прислушаться. И я делаю еще ряд бесполезных открытий. Временами мне кажется, что звук прекратился, ибо наступают долгие паузы, порой шипенье не рассыпшишь – слишком громко пульсирует в ушах моя собственная кровь, и тогда две паузы сливаются в одну и на минутку воображаешь, будто шипенье умолкло навсегда. И уже не слушаешь, вскакиваешь, в жизни наступает перелом, чудится, словно открылись родники, из которых в жилище льется тишина. Остерегаешься сразу же проверить свое открытие, ищешь кого-нибудь, кому можно сначала без колебаний его доверить, галопом мчишься на укрепленную площадку, вспоминаешь, что всем существом пробудился для новой жизни, что уже давно ничего не ел, вырываешь из-под засыпавшей их земли какие-нибудь запасы, не успевая проглотить их, бежишь к тому месту, где было сделано невероятное открытие, чтобы наскоро, во время еды, проверить еще раз, слушаешь, но даже при беглом слушании тотчас убеждаешься, что ошибся – там вдали опять раздается несокрушимое шипенье. И тогда выплевываешь пищу, и хочется затоптать ее, и возвращаешься к работе, но даже не знаешь к какой; где-нибудь, где это кажется необходимым, а таких мест достаточно, начинаешь машинально что-то делать, как будто явился надзиратель и перед ним нужно разыгрывать комедию. Но едва ты немного поработал, может случиться, что тебя ждет новое открытие. Тебе вдруг чудится, будто шипенье становится громче, ненамного громче, конечно, тут можно говорить всегда лишь об очень тонких различиях, но все же несколько громче, и ухо это ясно улавливает. Усиление звука кажется его приближением, и еще отчетливее, чем это усиление, прямо-таки видишь его приближающийся шаг. Отскакиваешь от стены, пытаешься одним взглядом окинуть все неожиданности, которые повлечет за собой это открытие. Возникает чувство, что в сущности жилье никогда не было устроено так, чтобы выдержать нападение, намерение, правда, было, но вопреки всему жизненному опыту опасность нападения и меры защиты казались очень далекими, а если и не далекими (это же было бы неправдоподобно!), то по своему значению гораздо ниже, чем создание обстановки для мирной жизни, почему ей всюду в жилье и отдавалось предпочтение. Можно было многое в этом смысле подготовить, не нарушая основного плана, но почему-то это было непонятным образом упущено. За последние годы мне очень везло, счастье избаловало меня; правда, я бывал встревожен, но тревога среди счастья ни к чему не побуждала.

Что следовало бы сейчас предпринять в первую очередь – это осмотреть жилье с точки зрения защиты и всех возможных опасностей, выработать план перестройки жилья с этой точки зрения и затем сразу же, бодро, как молодой, приняться за дело. Такова была бы необходимая работа, но для нее, кстати сказать, слишком поздно. Однако необходимо было бы именно это, а отнюдь не рытье где попало большого разведочного рва, который преследовал бы в сущности одну цель – направить все мои силы на поиск опасности в нелепом страхе, что она слишком скоро сама меня настигнет. И я вдруг перестаю понимать смысл моего прежнего плана. В нем, казавшемся мне раньше столь разумным, я уже не вижу ни капли разумности, я вновь прекращаю работу, перестаю прислушиваться, я больше не хочу искать новых подтверждений, хватит с меня открытий, я все бросаю и был бы доволен, если бы удалось хоть успокоить внутренние противоречивые голоса. Вновь предоставляю моим ходам уводить меня, попадаю во все более отдаленные, которых после своего возвращения еще не видел, своими скребущими лапами еще не касался и чья тишина, нарушенная моим появлением, снова опускается на меня. Но я ей не отдаюсь, я спешу дальше; не знаю, чего я хочу, вероятно, отсрочки. Я блуждаю, и захожу так далеко, что

оказываюсь в лабиринте, и меня тянет послушать, у самого покрова из мха – вот какая далекая жизнь, в эту минуту особенно далекая, интересует меня. Я поднимаюсь до самого верха и прислушиваюсь. Глубокая тишина; как здесь хорошо, никто не думает о моем жилье, у каждого свои дела, не имеющие ко мне никакого отношения; и как я ухитрился этого добиться! Здесь, под покровом из мха, может быть, единственное место в моем жилье, где я могу напрасно прислушиваться в течение долгих часов. Все соотношения в моем жилье перевернуты: место, бывшее самым опасным, стало самым мирным, а укрепленная площадка вовлечена в шумную жизнь и ее опасности. Хуже того, и здесь на самом деле нет покоя, ведь здесь ничто не изменилось, опасность, тихая или шумная, все равно, как и прежде, подстерегает меня над мхом, но я стал к ней нечувствителен, ибо слишком поглощен этим шипением в моих стенах. Но поглощен ли я? Шипение усиливается, приближается, я же сначала крадусь по ходам лабиринта, а потом устраиваюсь здесь, наверху, под мхом, словно уже уступил шипящему свое жилье, довольный, что меня здесь, наверху, пока оставляют в покое. Шипящему? Разве у меня возникло новое, определенное мнение относительно причины шипенья? Ведь скорее всего это – осыпание почвы в канавках, которые роет мелюзга. Разве не таково мое мнение? Его я как будто не изменил. И если это не прямо связано с канавками, то косвенно – дело все же в них. А если оно к этому вовсе не имеет отношения, тогда заранее ничего решить нельзя и нужно ждать, пока, быть может, откроешь причину или она сама откроется тебе. Правда, можно бы и сейчас заняться всячими предположениями, можно бы, например, допустить, что где-то далеко от моего жилья прорвалась вода и то, что мне кажется свистом и шипением, – это плеск воды. Но помимо того, что я ничего в этом деле не смыслю, почвенные воды, на которые я вначале натолкнулся, были тут же отведены мной, и в эту песчаную почву они не вернулись, уже не говоря о том, что звук этот именно шипение, а никак не плеск. Но напрасны все призыры к спокойствию, фантазия не останавливается, и я, кажется, начинаю верить – бесполезно отрицать это перед самим собой, – что шипение исходит от животного, притом не от нескольких и мелких, а от одного-единственного и крупного. Многое говорит против такого предположения. Прежде всего то, что шипящий звук слышен повсюду, он всегда одинаковой силы и, кроме того, раздается неукоснительно и днем и ночью. Конечно, первой приходит мысль о множестве мелких животных, так как при своих раскопках я неизбежно должен был бы обнаружить их, но ничего не нашел, остается только допустить существование крупного животного, причем то, что как будто противоречит такому допущению, делает его непредставимо опасным. Только потому я и противился этой мысли. Теперь я отказываюсь от такого самообмана. Уже давно посещает меня догадка, что звук этот именно и слышен даже на большом расстоянии потому, что животное работает неистово, оно с такой быстротой продирается сквозь землю, с какой гуляющий идет по пустынной аллее, земля еще дрожит от его рытья, даже когда животное уже прошло, и эта дрожь и звук самой работы на большом расстоянии сливаются воедино, и я, до кого доносится лишь последний отзвук, слышу его повсюду одинаково. Влияет на слышимость также и то, что животное движется не ко мне, поэтому шорох не меняется; вероятно, существует какой-то план, смысл которого я не угадываю, я только допускаю, что животное – причем я вовсе не утверждаю, будто оно знает обо мне, – описывает круги и, может быть, уже несколько раз обошло вокруг моего жилья, с тех пор как я за ним наблюдаю. Трудную загадку задает мне характер этого звука – то шипение, то свист. Когда я сам царапаю когтями землю и роюсь в ней, звуки совсем другие. Шипение я могу объяснить только тем, что главным орудием животного служат не когти, которыми он, может быть, только себе подсобляет, а его морда или хобот; они, помимо чрезвычайной силы, также заострены. Одним мощным толчком вонзает он хобот в землю и выхватывает большой ком; в это время я ничего не слышу, это и есть пауза; а затем он втягивает воздух для нового толчка. Это втягивание воздуха, которое должно сотрясать землю своим шумом не только из-за силы животного, то и от его спешки, этот шум и доносится до меня в виде легкого шипения. Однако совершенно непонятной остается его способность работать без передышки; может быть, коротенькие паузы – это для него крошечная передышка, но настоящего, большого отдыха оно себе, видимо, еще не давало. День и ночь роет оно все с той же силой и бодростью, как будто имея перед глазами спешно выполняемый план, для осуществления которого у него есть все данные. Что ж, такого противника я не мог ожидать. Но помимо его особенностей я теперь столкнулся с тем, чего должен был, говоря по правде, всегда опасаться, к чему я должен был заранее подготовиться: кто-то приближается ко мне! Как могло случиться, что так долго моя жизнь текла тихо и благополучно! Кто указывал пути врагам и почему они описывали широкую дугу, обходя мои владения? Зачем было так долго охранять меня, а теперь вызывать такой страх? Что значат все маленькие опасности, на обдумывание которых я тратил столько времени, в сравнении с этой одной? Или я надеялся, что, владея таким жильем, буду тем самым иметь перевес и в силе по сравнению с любым пришельцем? Именно в качестве хозяина этого огромного и непрочного сооружения я, конечно, беззащитен против всякой атаки. Счастье владеть им избаловало меня, уязвимость моего жилья сделала и меня уязвимым, его повреждения причиняют мне боль, словно это повреждения моего собственного тела. Именно это мне следовало предвидеть, думать не только о защите самого себя, хотя и к ней я относился легкомысленно и беззаботно, но и о защите моего жилья. Следовало прежде всего позаботиться о том, чтобы можно было отдельные части его, как можно больше отдельных частей в случае нападения на них быстро засыпать землей, изолировать их от менее угрожаемых участков, притом такими земляными массивами и так обезопасить, чтобы нападающий даже не подозревал о существовании позади них самого жилья. Эти земляные массивы должны были бы служить не только для того, чтобы скрыть жилье, но главным образом чтобы засыпать самого врага. Но я не сделал ни малейшей попытки в этом направлении, ничего, ничего не предпринял, я жил легкомысленно, как ребенок, годы зрелости провел в детских забавах, даже мыслями об опасности я играл и подумать о настоящих опасностях не удосужился. А ведь предостережений было достаточно.

Однако ничего равного по силе теперешнему не происходило. Впрочем, когда я еще только начал строить свою нору, случаи в этом роде имели место. Основная разница заключалась в том, что я только начал строить... Я работал тогда, как мальчишка-ученик, еще над первым ходом, лабиринт был намечен лишь в общих чертах, одну маленькую площадку я уже выкопал, но и пропорции и выведение стен мне еще совершенно не удавались; словом, все еще существовало в зачатке, это можно было счесть только за пробу сил, я знал, что, если не хватит терпения, потом легко можно будет все тут же бросить без особых сожалений. И вот однажды во время передышки – я допустил в своей жизни слишком много передышек, – когда я лежал между кучами земли, я вдруг услышал далекий шум. По молодости лет я скорее заинтересовался, чем встревожился. Я прекратил работу и занялся только слушанием, я беспрерывно прислушивался, а не побежал наверх под мх, чтобы там улечься и не быть обязанным слушать. Тут я хоть слушал. Я хорошо понимал, что кто-то роет землю, подобно мне, правда, звук был несколько слабее, хотя какое нас отделяло расстояние – трудно было сказать. Я был насторожен, но спокоен и хладнокровен. Может быть, я в чужой норе, подумал я, и хозяин прорывает путь ко мне. Если бы мое предположение оправдалось, я, не имея склонности ни к завоеваниям, ни к агрессии, вероятно, ретировался бы и стал строить в другом месте. Правда, я был еще молод, у меня еще не было жилья, и я мог оставаться спокойным и хладнокровным.

Дальнейший ход событий также не принес особых волнений, только уточнить место было нелегко. Если тот, кто там рыл, действительно старался добраться до меня, ибо услышал, как я рою, то, когда он явно изменил направление, нельзя было решить, лишил ли я его, прервав работу, всякого ориентира или это произошло потому, что сам он изменил свои намерения. А может быть, просто-напросто я

ошибся, и он против меня ничего не злоумышлял; во всяком случае, шум некоторое время еще усиливался, словно он приближался, и я, тогда еще молодой, пожалуй, ничего бы не имел против, если бы землекоп вдруг вышел из земли и встал передо мной; но ничего подобного не произошло, с определенного момента шум стал ослабевать, он становился все тише, словно землекоп отклонялся от первоначального направления, и вдруг совсем смолк, как будто он повернулся в противоположную сторону и уходил от меня все дальше и дальше. Долго еще вслушивался я в наступившую тишину, прежде чем вернуться к работе. Это предостережение было достаточно ясным, но я скоро забыло о нем, и оно едва ли повлияло на мои строительные планы.

Между тогдашними днями и теперешними лежит период моей возмужалости; но разве не кажется, что между ними ничего не лежит? Я все еще делаю большие передышки в работе и прислушиваюсь к стенам, а землекоп недавно изменил свои первоначальные намерения, он поворачивает обратно, он возвращается из своего путешествия, он полагает, что дал мне достаточно времени, чтобы подготовиться к его приему. А у меня все устроено гораздо хуже, чем тогда, мое обширное жилье совершенно беззащитно, и я уже не мальчишка-ученик, а старый опытный архитектор, оставшиеся силы могут отказать, если наступит решительная минута, но как бы стар я ни был, мне кажется, я охотно стал бы еще старше, чем сейчас, таким старым, что не смог бы уже подняться со своего ложа под мхом. Ведь на самом деле я здесь не в силах выдержать, я встаю и мчусь опять вниз, в свое жилье, словно не отдохнул здесь, а растревожил себя новыми заботами. Как же обстояло дело в последние минуты? Ослабело ли шипенье? Нет, оно усилилось. Достаточно прислушаться в любом месте, и я отчетливо осознаю свои иллюзии, ибо шипенье осталось в точности таким же, ничто не изменилось. Там, у противника, не произошло никаких перемен, там спокойны, там стоят выше времени, а здесь слушающего терзает каждая минута. И я опять совершаю долгий путь к укрепленной площадке. Все вокруг кажется мне взволнованным, все как будто смотрят на меня и тут же отводят взгляд, чтобы меня не тревожить, и опять старается по моему виду угадать принятые мною спасительные решения. А я качаю головой, ибо их еще нет у меня. Не иду я и на укрепленную площадку, чтобы там приняться за выполнение какого-либо плана. Проходя мимо того места, где я хотел копать разведочный ров, я еще раз исследую его, оно выбрано очень удачно, ров шел бы в ту сторону, в которой находится большинство мелких воздухопроводов, они очень облегчили бы мне работу; может быть, и копать-то особенно долго не пришлось бы, чтобы добраться до источника шипенья, может быть, достаточно было бы послушать у этих воздухопроводов. Но никакие соображения не имеют достаточной силы, чтобы подбодрить меня и заставить приняться за ров. Ров этот должен дать мне достоверные сведения. Но я уже дошел до того, что не хочу этих достоверных сведений. На укрепленной площадке я выбираю хороший кусок освеженного мяса и с ним заползаю в кучу земли, там по крайней мере будет тихо, насколько здесь еще возможна тишина. Я ляжу мясо и лакомлюсь им, думаю то о неведомом животном, которое там вдали прокладывает себе дорогу, то о моих запасах, которыми, пока еще возможно, я могу наслаждаться, не жалея их. Вероятно, это и есть мой единственный выполнимый план. Все же я стараюсь разгадать план неведомого животного. Что оно, странствует или работает над созданием собственного жилья? Если оно странствует, то нельзя ли было бы с ним договориться? Если оно действительно докопается до меня, я отдам ему кое-что из моих запасов, и оно отправится дальше. Ну, допустим, оно отправится дальше. Сидя в моей земляной куче, я, конечно, могу мечтать о чем угодно, о взаимопонимании тоже, хотя слишком хорошо знаю, что взаимопонимания не существует и что едва мы друг друга увидим, даже только почуем близость друг друга, мы потеряем голову и в тот же миг, охваченные иного рода голодом, даже если мы сыты до отвала, сейчас же пустим в ход и когти и зубы. И здесь, как всегда, сделаем это с полным правом, ибо кто же, странствуя и увидев такое жилье, не изменил бы своего пути и планов на будущее? Но, может быть, эта тварь роет в собственной норе, и тогда мне о взаимопонимании и думать нечего. Если даже это такое необыкновенное животное, что оно готово терпеть соседнее жилье рядом со своим, то мое жилье не допустит соседа, во всяком случае такого, которого оно слышит. Правда, кажется, что животное очень далеко, если оно отойдет еще хоть немного дальше, то исчезнет, вероятно, и шипенье, и тогда, быть может, все уладилось бы, как в доброе старое время, тогда все оказалось бы лишь мучительным, но полезным опытом, он побудил бы меня к целому ряду усовершенствований; когда я спокоен и опасность не угрожает мне непосредственно, я еще способен выполнять всевозможные серьезные работы, и, быть может, эта тварь при гигантских возможностях, которыми она при своей силе, видимо, располагает, откажется от продолжения своего жилья в сторону моего и вознаградит себя за это чем-нибудь другим. Всего этого, конечно, не достигнешь с помощью переговоров, а только с помощью собственного разума животного или путем принуждения, исходящего от меня. В обоих случаях важно, знает ли и что именно знает обо мне эта тварь. Чем больше я думаю, тем неправдоподобнее кажется мне, чтобы оно вообще услышало меня; возможно, хотя и трудно себе представить, что оно каким-либо иным путем получило сведения обо мне, но все-таки оно едва ли меня слышало. Пока я ничего о нем не знал, оно не могло и слышать меня, ибо я тогда вел себя очень тихо, ведь нет ничего тише, чем свидание со своим жилищем; когда я пытался рыть в разных местах, оно могло меня услышать; правда, роя землю, я произвожу очень мало шума, а если бы оно меня услышало и я что-нибудь заметил бы, оно должно было хотя бы делать частые перерывы в работе и прислушиваться... Но все оставалось неизменным...